

Максим Осипов
Грех жаловаться

Максим Осипов
Грех жаловаться



издательство **астрель** 2009

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
О74

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

*На обложке: фрагмент картины ЭРНСТА ЛЮДВИГА КИРХНЕРА
“Марцелла-артистка”, 1910*

Осипов, М.

О74 Грех жаловаться / МАКСИМ ОСИПОВ. – М. : АСТ: Астрель: CORPUS, 2009. – 255, [1] с.

ISBN 978-5-17-060956-7 (ООО “Издательство АСТ”)

ISBN 978-5-271-24622-7 (ООО “Издательство Астрель”)

Максим Осипов — врач-кардиолог, автор и редактор многих медицинских книг, в последние годы работает в Тарусской больнице. С 2007 года печатает свою публицистику и прозу в журнале “Знамя”, стал лауреатом премии этого журнала.

Очерки Осипова о сегодняшней российской провинции, особенно “В родном краю”, получили широкую известность и стали поводом для бурной дискуссии в прессе и в интернете. Эти очерки, гуманные и беспощадные, открывают сборник, который продолжается разговором об общественном служении и завершается двумя повестями. Основные темы трехчастной повести “Встреча” — любовь, искусство, выбор духовного пути — сцеплены, как в классической сонате. Повесть “Камень, ножницы, бумага” рассказывает об иноприродной человеку сущности русского начальства, о предельной мощи ислама и о хрупкой красоте христианской культуры.

Эффект, производимый прозой Максима Осипова, лучше всего передается описанием одного из толстовских персонажей: он говорит “хотя и не совсем кстати, но простые вещи, имеющие смысл”.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-17-060956-7 (ООО “Издательство АСТ”)

ISBN 978-5-271-24622-7 (ООО “Издательство Астрель”)

- © М. Осипов, 2009
- © Г. Дашевский, предисловие, 2009
- © А. Бондаренко, оформление, 2009
- © ООО “Издательство Астрель”, 2009
- © Издательство CORPUS ®

Содержание

Григорий Дашевский. *Предисловие*7

101-й километр

В родном краю13

Грех жаловаться35

Непасхальная радость55

Как *быть*. Манифест в форме диалога . .73

Встреча. Повесть115

Камень, ножницы, бумага. Повесть197

Предисловие

Есть очевидная причина прочесть эту книгу. В первых трех очерках Максим Осипов рассказывает о своей работе в провинциальной больнице, о помощи или противодействии пациентов, начальства, публики, о соединении собственной и местной жизни — и мы наблюдаем в реальном времени (“в реальном времени, в ситуации, которая меняется от того, что ты делаешь и говоришь”) и развитие ситуации, и, главное, наблюдаем самого автора — человека умного, знающего, наблюдательного, бесстрашного. Бесстрашного не только в жизни, но и в тексте — в прямом и твердом, но без лишней резкости, назывании вещей (“у больных, да и у многих врачей сильнее всего выражены два чувства — страх смерти и нелюбовь к жизни”, “Темные они, — говорят мне добрые люди. Я бы сказал иначе — *плохие*. Оттого и темные, что плохие, не наоборот”) и (может быть, одно из самых смелых заявлений сегодня) в признании интеллигентских мерок как единственно значи-

ГРИГОРИЙ ДАШЕВСКИЙ

мых — “по меркам интеллигентного человека (а какие еще есть мерки?)”.

Конечно, нам хочется узнать, что этим человеком руководит, — и мы прочтем его “Манифест в форме диалога”. Конечно, хочется узнать, как человек, который, судя по очеркам, понимает людей точно в ту меру, в какую нужно, не залезая в реальные или воображаемые глубины чужой души (“О чем думаю мои пациенты? Загадка. Дело не в образованности. Вот он сидит передо мной, слушает и не слушает, я привычно взволнованно говорю про необходимость похудеть, двигаться, принимать таблетки, даже когда станет лучше, а ему хочется одного — чтобы я замолчал и отпустил его восвояси”), — хочется узнать, как он все-таки эти глубины себе представляет, — и мы прочтем две его беллетристические повести и увидим, как герои главного сюжета русской классической литературы (мертвый он и живая она) трансформируются под трезвым и наблюдательным взглядом автора, — но увидим и как сам его взгляд трансформируется под действием этого сюжета.

И есть вторая причина — менее очевидная, но не менее важная. Кто нам расскажет о нашей общей действительности, кого мы готовы выслушать, кому поверить? Рассказ просто свидетеля об этой действительности нас давно уже раздражает — а что тут делает посторонний? — потому что вся эта наша действительность, на всей территории — есть наше частное, между жертвами и обидчиками, дело, посторонних нам тут не надо. Есть другой способ рассказа об этой действительности — рассказ жертвы, но он взывает о помощи, — а мы ее дать не можем, ведь мы сами жертва, так зачем нам еще чужие жалобы? Лишь обличителей мы готовы слушать бесконечно — и с ними отождествляться, лишь бы козел отпущения

был общий у автора и у нас, у читателей: иностранцы — у патриотов, инородцы — у фашистов, власть — у либералов, интеллигенция — у всех.

Но Осипов никого не обличает — а его рассказ мы слушать готовы. Мы видим ту же самую знакомую нам по тысячам книжных и журнальных жалоб и обличений действительность, но видим глазами человека, который ее меняет, проще говоря — в ней работает. И она приобретает странно-новый оттенок. Те же констатации, которые в устах жертв нас бесплодно мучат, а в устах свидетелей раздражают, здесь получают спокойный тон не диагноза даже, а описания условий работы. Мы привыкли к тому, что фрагменты мира освещены страданием, но, похоже, в смеси с апатией даже и этот свет тускнеет. Работа бросает на свою часть мира свет гораздо более ясный и резкий, по крайней мере, новый для нас.

И как сам автор вежливо, но твердо — а иногда с большим для себя риском (хотя нигде не подчеркнутым) отстраняется от любого не рабочего “мы”, от любых слияний — с либерально-журналистской “элитой”, с местным начальством, с бандитами и, самое главное, с тем, что он называет “пустота”, “алкоголизм”, то есть с небытием внутри самого себя, — так и его очерки не позволяют читателю праздных отождествлений. Согласиться с рассказчиком, сказать “да” на его беспощадно-трезвые констатации может только тот, кто и на свой кусок мира смотрит не как пассивная жертва или обличитель, а как работающий человек.

Григорий Дашевский

101-й километр

В родном краю

Уже полтора года я работаю врачом в небольшом городе N., районном центре одной из прилежащих к Москве областей. Пора подытожить свои впечатления. Первое и самое ужасное: у больных, да и у многих врачей, сильнее всего выражены два чувства — страх смерти и нелюбовь к жизни. Обдумывать будущее не хотят: пусть все остается по-старому. Не жизнь, а доживание. По праздникам веселятся, пьют, поют песни, но если заглянуть им в глаза, то никакого веселья вы там не найдете. Критический аортальный стеноз, надо делать операцию или не надо лежать в больнице. — Что же мне — умирать? — Ну да, получается, что умирать. Нет, умирать не хочет, но и ехать в обла-

стной центр, добиваться, суетиться — тоже. — Мне уже пятьдесят пять, я уже пожил (пожила). — Чего же вы хотите? — Инвалидности: на группу хочу. В возможность здоровья не верит, пусть будут лекарства бесплатные. — Доктор, я до пенсии хоть доживу? (Не доживают до пенсии неудачники, а дожил — жизнь состоялась.)

Второе: власть поделена между деньгами и алкоголем, то есть между двумя воплощениями Ничего, пустоты, смерти. Многим кажется, что проблемы можно решить с помощью денег, это почти никогда не верно. Как с их помощью пробудить интерес к жизни, к любви? И тогда вступает в свои права алкоголь. Он производит такое, например, действие: недавно со второго этажа выпал двухлетний ребенок по имени Федя. Пьяная мать и ее boyfriend, то есть *сожитель*, втащили Федю в дом и заперлись. Соседи, к счастью, все видели и вызвали милицию. Та сломала дверь, и ребенок оказался в больнице. Мать, как положено, голосит в коридоре. Разрыв селезенки, селезенку удалили, Федя жив и даже сам у себя удалил дыхательную трубку (не уследили, были заняты другой операцией), а потом и катетер из вены выдернул.

Третье: почти во всех семьях — в недавнем прошлом случаи насильственной смерти: утопление, взрывы петард, убийства, исчезновения в Москве. Все

это создает тот фон, на котором разворачивается жизнь и нашей семьи, в частности. Нередко приходится иметь дело с женщинами, похоронившими обоих своих взрослых детей.

Четвертое: почти не видел людей, увлеченных работой, вообще делом, а от этой расслабленности и невозможность сосредоточиться на собственном лечении. Трудно и со всеми этими названиями лекарств (торговыми, международными), и с дозами: чтобы принять 25 мг, надо таблетку 50 мг разделить пополам, а таблетку 100 мг — на четыре части. Сложно, неохота возиться. Взвешиваться каждый день, при увеличении веса принимать двойную дозу мочегонных — невыполнимо. Нет весов, а то соображение, что их можно купить, не приходит в голову, дело не в деньгах. Люди *практически неграмотны*, они умеют складывать буквы в слова, но на деле это умение не применяют. Самый частый ответ на предложение прочесть крупный печатный текст с моими рекомендациями: “Я без очков”. Ну раз без очков, то значит, сегодня ничего читать не собиралась, это и есть неграмотность. Еще одна проба: поняли, куда Вам ехать, поняли, что надо на меня сослаться? — Вроде, да. — А как меня зовут? Зло: — Откуда я знаю?

Пятое: оказалось, что дружба — интеллигентский феномен. Так называемые *простые люди* друзей не

имеют: ни разу меня не спрашивал о состоянии больных кто-нибудь, кроме родственников. Отсутствует взаимопомощь, мы самые большие индивидуалисты, каких себе можно представить. Кажется, у нации нет инстинкта самосохранения. Юдоль: проще умереть, чем попросить соседа довезти до Москвы. Жены нет, а друзья? Таких нет. Брат есть, но в Москве, телефон где-то записан.

Шестое: мужчина — почти всегда идиот. Мужчина с сердечной недостаточностью, если за ним не ходит по пятам жена, обречен на скорую гибель. Начинается этот идиотизм уже в юношеском возрасте и затем прогрессирует, даже если мужчина становится главным инженером или, к примеру, агрономом.

Мужчина, заботящийся о близких, — редкость, и тем большее уважение он вызывает. Одного из них, Алексея Ивановича, я лечу — он добился, чтобы жене пересадили почку, продал все, что у них было, потратил сорок тысяч долларов. Обычно иначе: Бог дал — Бог взял, девять дней, сорок.

Противны *выбившиеся в люди*. На днях приходила одна такая с недавним передним инфарктом. Мужним воровством построила рядом с нами большой каменный дом. Во мне она видит равного или почти равного и потому сначала жалуется, что ее растрясло, “хотя машина хорошая, Вольво”, а потом ведет такой раз-

говор: “Мне сейчас надо внука отправить на Кипр к дочери, она там учится. Кипр, знаете, очень испортился, слишком много *голубых*”. И все в таком роде. Кстати, обстановочка, в общем, асексуальная, не то что в иных московских клиниках, где тяга полов прямо-таки разлита в воздухе.

Еще одно: у нас почти не лечат стариков. Ей семьдесят лет, чего вы хотите? Того же, чего и для двадцатипятилетней. Вспомнил трясущуюся старушку в магазине. Кряхтя, она выбирала кусочки сыра, маслица, колбаски, как говорят, *половчее*, то есть подешевле. За ней собралась очередь, и продавщица, молодая белая баба, с чувством сказала: “Я вот до такого точно не доживу!” Старушка вдруг подняла голову и твердо произнесла: “Доживете. И очень скоро”. В Спарте с немощными обходились еще рациональнее — что осталось от Спарты, кроме нескольких анекдотов? Создается впечатление, что мы экономим какие-то ресурсы, усилия для лечения молодых, это неверно. Старика пытаются лечить, если он *социально значимый* (отец начальника электросетей, мать замглавы администрации).

Вообще же старушки интереснее всех. Недавно полночи ставил временный кардиостимулятор; когда наконец все получилось, пожал руку своему помощнику, и тогда полубездыханная прежде старушка тоже протянула мне руку: “А мне?” — и крепко пожалала.

Вечная присказка: “Хорошо вам говорить, Максим Александрович”. На деле это значит — хорошо вам, Максим Александрович, вам не лень делать то или другое.

Роль Церкви в жизни больных и больницы ничтожна. Нет даже внешних атрибутов благочестия, вроде иконок на тумбочках. Все, однако, крещеные, у всех на шее крестики, в том числе у страшного человека по имени Ульрих. Ульрих расстрелял своими руками шестьдесят восемь человек (националистов на Украине, бандитов после амнистии 1953 года и так, “по мелочи”), водитель, ветеринар, целитель, внештатный сотрудник госбезопасности (вероятно, врет). Имеет табельное оружие, пистолет Стечкина (опять-таки, если не вранье). Удар полтонны, на днях выбил взрослому сыну передние зубы. Должен быть порядок. Порядок должен быть, а кто его не будет соблюдать, того оставим кулаком или, если понадобится, пулей. Пенсия две семьсот. Как же госбезопасность, не помогает? Нет, это добровольно. Говорить с Ульрихом страшно: того и гляди, возьмется за Стечкина. А сумасшествие (бывшая жена занимается черной магией, офис в Москве, вредит ему и все в таком духе — карма, дыхательные аппараты, магниты) — следствие совершенного зла, а не наоборот. Но такие больные — исключение, в основном люди миролюбивы.

Идиотизм власти (областной, московской) даже не обсуждается, обсуждаются только способы ее обмана. Из-за этого происходят истории, для описания которых нужен гений Петрушевской. Вот одна из них: есть распоряжение, что ампутированные конечности нельзя уничтожать (например, сжигать), а надо хоронить на кладбище. Несознательные одноногие граждане своих ампутированных ног не забирают, в результате в морге недавно скопилось семь ног. Пришлось дожидаться похорон бездомного (за казенный счет и без свидетелей) и положить ему эти ноги в могилу.

Что же хорошего я вижу? Свободу помочь многим людям. Даже если помощь останется невоспринятой — дать возможность помощи. Отсутствие препятствий со стороны врачей, администрации. Хочешь палату интенсивной терапии — пожалуйста. Хочешь привозить лекарства и раздавать их — то же. Хочешь положить больного, чтобы мать-алкоголичка оставила его в покое, — клади. Помогает и отсутствие традиций. В отличие от других провинциальных городов N. не живет традициями.

Ксенофобии тоже, в общем, нет, хотя на днях пришлось содрать с двери магазина типографским способом напечатанную листовку “Сохраним N. белым городом”. При том что, по моим наблюдениям, все, кто

хочет что-то сделать для больницы, — приезжие. Есть большая терпимость, в том числе, увы, к совершенно нетерпимым вещам, вроде торговли героином, и совсем нет осуждения. Ясно, что москвичи воры, ну и пусть.

Есть уважение к книгам, знанию, опыту жизни в большом мире, но нет зависти. Что с того, что больные не соглашаются на операцию на сердце, — а кому ее хочется себе делать? Да тут еще областные светила объяснят, что делать ничего не надо. Каждый такой случай воспринимается как врачебная неудача, неэффективное действие, провал. Поэтому и приходится вешать дипломы на стенку, а главное — стараться, напрягаться, отдаваться разговору и вообще встрече с человеком.

Радует если еще не жажда, то уже готовность к деятельности у людей, которых недавно, казалось, остается только закопать. Еще — ощущение герметичности происходящего (все попадают в одну больницу): становится известно продолжение любой истории, что добавляет ответственности.

Есть радость встречи: недавно лечил худенькую веселенькую девятистолетнюю Александру Ивановну (отец-священник погиб в лагере, мать умерла от голода, осталась без образования, была воспитательницей в детском саду), человека, более близкого к святости, я

не встречал. Говорю ей: у вас опасная болезнь (инфаркт миокарда), придется остаться в больнице. Она весело: птичий грипп, что ли?

На днях получил привет от своего прадеда, умершего вскоре после моего рождения: обратил внимание на красивое и редкое имя больной — Руфь. “Руфь-чужестранка”, — сказал я ей, и она ответила: “Только один врач отметил мое имя и очень меня за него полюбил, я и дома у него бывала”. Этот врач — мой прадед, после лагеря он жил на 101-м километре, до смерти — в городе N. Теперь на 101-й километр не посылают, надо об этом побеспокоиться самому.

Еще, конечно, нравится ощущение своего города, нравится, когда раскланиваются на улице. Молодец среди овец? Пусть, это лучше, чем овца среди овец. Тем более что скоро появится еще молодец, а там, глядишь, и еще.

Из сказанного ясно, что я счастлив работать в городе N.

апрель 2006 г.

Прошел еще один год моей провинциальной жизни, многое изменилось, в большой мере — из-за обещанного выше молодца, моего молодого друга и коллеги. Вдвоем мы так ловко справляемся, что больных стало

не хватать. Смертность в больнице уменьшилась вдвое. Возможностей помочь становится все больше, свободу никто не ограничивает, грех жаловаться. Анонимный олигарх подарил нам чудесный аппарат. Работа становится *врачебнее*, ближе к идеалу, хотя еще очень далека от него. Исчезает сентиментальность (когда навязывают роль благодетеля и вообще хорошего человека). Если бы этого не случилось, то пришлось бы рассматривать город N. как последнее пристанище доктора Живаго, как уступку энтропии. (Не всякий, кто Москву оставил, — Кутузов.) С другой стороны, первичная радость встречи (с людьми, с городом) прошла, приветов от прадеда больше не поступало, взгляд на окружающее стал более трезвым, а оттого — мрачным. Из-за попыток экспансии на соседние с N. районы все чаще приходится видеть начальство — районное, областное, московское. Это, как говорит коллега, “не добавляет”. В отличие от зла, всегда образующего положительную обратную связь (страх — удушье — еще больший страх — еще большее удушье), осмысленная деятельность сопровождается все возрастающими трудностями.

Медицина. Медицинская помощь на Руси, как и прежде, очень доступна, но не очень действенна: *Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом... что я никогда из корысти не лечу... Конечно, я бы*

приставил ваш нос, но это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой природы. Мойте чаще холодной водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. Так примерно лечат и теперь: за пять лет в России меняется многое, за двести — ничего. Врачи и больные по-прежнему отлично подходят друг другу. И вдруг появляемся мы, и пошло-поехало: один принимает много варфарина, не делая анализов, просто когда плохо себя чувствует, — у него тяжелое кровотечение, другой после протезирования клапана бросает принимать варфарин — у него тромбоэмболия бедренной артерии (можно сказать, повезло). Причина в обоих случаях — алкоголизм и мужской идиотизм. Мужской идиотизм, в частности, проявляется так: подавляющее большинство мужчин в ответ на вопрос “На что жалуетесь?” отвечают с раздражением: “Да вот, послали к кардиологу”.

Главная проблема нашей медицины — отсутствие *лечащего врача*. Больной слушает (если вообще слушает) последнего, к кому попадет. В больнице назначили одно, в поликлинике другое, в областной больнице третье, а в Москве сказали, что надо делать операцию. Кого слушать? Того, кто понравился, кто лучше утешил, кто взял больше денег? Или того, у кого громче звание? Как может профессор (академик, главный спе-

циалист, заслуженный врач) говорить глупости? *Если Бога нет, то какой же я после того капитан?* — это из “Бесов”. Врач тоже не понимает, в какой роли находится: то ли он что-то решает, то ли так, должен высказать *мнение*. В теории лечащий врач — участковый, но он служит в основном для выписывания рецептов и больничных листов, часто пьет и презирует свою работу и себя. (Чехов в записных книжках еще называет уездного врача неискренним семинаристом и византийцем, это не вполне понятно.) Участковый врач давно отвык принимать решения (“да” и “нет” не говорите, черный-белый не берите) и обращается с больным так: “Сердце болит при быстрой ходьбе? — А куда вам топиться?” Как ни странно, такой ответ устраивает.

Не хватает не больниц, не лекарств — нет линии поведения, нет единой системы апеллирования к источникам научного знания, нет системы доказательств и нет потребности в этой системе. Конечно, кое-кому удается помочь, каждый раз как бы случайно. Важно ведь именно превращение искусства в ремесло — в этом и состоит прогресс. А так — да мало ли что вообще в стране *делают*? Вот легкие недавно в Петербурге женщине пересадили — можно ли сказать, что у нас *делается* пересадка легких? Сколько человеку жить, надо ли бороться с болезнью всеми известными науке способами, решает не сам человек, а начальство (напри-

мер, официальное противопоказание к вызову нейрохирургической бригады — возраст старше семидесяти лет), потом все кричат: “Куда только смотрит государство!” А государство — это милиционеры, что они понимают в медицине? Они и не могут иначе измерить ее, как числом амбулаторных посещений, продолжительностью госпитализации, количеством “высокотехнологичных” исследований и т. п. В общем, до революции в Тульской области был один писатель, теперь — три тысячи.

Отсутствие людей, способных выдерживать линию — в лечении больных, в разговоре, в самообучении, — заметно не только в районном городе, но и в областном, и в Москве. Недавно мы с коллегой были в двух главных областных больницах, одна — победнее — нам скорее понравилась (врачи тяжело работают, читают медицинские книги — к сожалению, только по-русски), другая же не понравилась совсем. Обе больницы, кстати, judenfrei, что лечебным учреждениям совсем не идет (гибель отечественной медицины так и начиналась — с дела врачей; массовая эмиграция, уход активных людей на западные фирмы — это уже все было потом). Доктор Люба, красотка с длиннющими ногтями (“Мы — клинические кардиологи”, то есть делать ничего не умеем), ждет, что ее через год станут учить катетерной деструкции аритмий. Все это результат

применения сталинского тезиса “Незаменимых у нас нет”. (Я — министру, по возможности кратко: “А у нас есть”.) Если уж непременно надо сталинское, взяли бы лучше “Кадры решают все”. Как я не научусь играть “Мефисто-вальс”, купи мне хоть новенький “Стейнвей”, так и Люба не справится с аритмиями, даже когда спилит ногти. Начальству этого не понять: научим, в Москву пошлем, если надо — в Европу, в Америку. Не выйдет, на льдинах лавр не расцветет, никто в Америке не станет учить русский язык, чтобы потом рассказать Любе про аритмии (она английский “проходила в институте”). Потом мы ехали по пустой заснеженной дороге, было щемяще красиво, коллега немножко рассказывал из генетики, точнее — молекулярной биологии, а я смотрел по сторонам и думал: какие именно бедствия нас ждут? Какие бедствия ждут красивую пьяную женщину, без дела стоящую на перекрестке? Трудно сказать, какие-то — ждут. Может она образумиться, протрезветь и вернуться к детям или встретит хорошего человека?

Деньги. Главный миф, в реальность которого верят почти все, — о решающей роли денег. Сплетня — двигатель провинциальной мысли — однообразна и скучна и вся сосредоточена на деньгах. Вокруг моего пребывания в городе N. ходят нелестные слухи, все они сопряжены с какой-то экономической деятельно-

стью (несуществующей). В советское время слухи были бы иными: неприятности в Москве, желание ставить опыты на людях, связь с тайной полицией (такое обвинение еще страшнее), заграницей, жажда славы, семейные неурядицы — теперь такое никого не интересует. Кроме сребролюбия есть же еще сласто- и властолюбие, но об этих пороках забыли. Главный слух: москвичи купили больницу, скоро все будет платное. Какой бы легкой ни была рука, протянутая к людям, им все чудится, что она ищет их карман.

Идея денег в умах людей, особенно мужчин, производит большие разрушения. За деньги можно все — вылечиться самому, вылечить ребенка, мать. По этому поводу много тихого отчаяния. Причина гибели — невысказанная — такая, например: мать умерла, денег на лечение не было. Знаю точно: дело не в деньгах, лекарства почти все доступны небогатому человеку. Отчаяние подогревается телевизионным: “Тойота, управляй мечтой”. А ты, ничтожество, не можешь заработать, на худой конец — украсть (чтобы мать вылечить, можно и украсть). Настоящие мужчины управляют мечтой, о них всегда думает Тефаль, об их зубах заботится “Дирол с ксилитом и карбамидом” (кстати, карбамид — это по-английски мочеви́на, ничего особенного). Деньги, конечно, нужны, на многое не хватает, но главная беда иная, внеэкономическая.

Пустота. Оля М. поступила в больницу с отравлением уксусной эссенцией, с ожогом пищевода. (Осенью больница превратилась в разновидность “Англетера”: один прямо в палате удавился, другой выбросился из окна, третья дважды пыталась вешаться — все за два месяца.) До этого Оля пробовала резать себе вены. Ей двадцать восемь лет, выглядит на пятнадцать, работает уборщицей в столовой. Выросла в детском доме в Людиново, Калужская область. Живет в двухкомнатной квартире с мужем-алкашом, свекром-алкашом, чистенькой семилетней дочкой (с бантом, приходила навестить мать, перед этим первый день пошла в школу) и со свекровью, которая явно привязана к внучке. Попытался поговорить, но не очень получилось. Велел алкашу-мужу вернуть ее паспорт, запер в сейф. Это было единственное мое осмысленное действие. Предлагал переехать (сам не знал куда, но что-нибудь бы придумал) — не хочет. Лежит скучает, ничего не читает, хотя говорит, что умеет. Подарил ей Евангелие — вернула (прочла, наверное, первое слово — *Родословие...* и бросила). Устроил ее разговор с отцом К. — замечательным священником, он приезжал ко мне лечиться из Москвы, — бесполезно, говорил один он, но Оля, по крайней мере, поплакала. Собрали ей шмоток, потом невесть откуда появился новый мужчина, будет жить с ним, выписывается веселенькая.

Через два месяца поступает снова, была пьяная (говорит — только пива выпила, не похоже), разрезала себе живот, поранила переднюю стенку желудка, зашили. Уже выглядит грубее. Стонет от боли: “Блин, покашляла”. По виду — классическая жертва, но дальше может совершить почти любое зло, например зарезать мужа, или девочку, или вот меня. Проще всего объявить Олю душевнобольной (хотя бреда и галлюцинаций у нее нет, а вопрос, что такое душа, считается в психиатрии неприличным), но разве это что-нибудь объясняет? Смотришь на Олю — и ясно, что зло не присуще человеку, а вступает, входит в него, заполняя пустоту, межклеточные промежутки. Зло и добро — разной природы, а сродство у пустоты именно со злом. (Недавно история Оли М. получила продолжение. В больницу поступил ее пьяница-муж. Получил резаную рану живота с повреждением тонкой кишки и подвздошной артерии. Говорит: ручка от мясорубки соскочила, он ударился о стол, на котором лежал нож и т. д.)

Случаются встречи и менее тяжкие. В городе N. намного лучше, чем в Москве, относятся к гибнущим людям, в частности — к бездомным. Недавно скорая в лютый мороз выехала забрать “криминальный труп”. “Похоже, Саша Терехов наконец преставился”, — так выразилась фельдшер. Пока ехали, живой труп сел в

такси и явился в больницу имитировать одышку. Госпитализирован на “социальную койку”, утром исчез. Другой бездомный, из давно обрусевших немцев, с тяжелой аортальной недостаточностью, живет в больнице уже три месяца, поскольку его некуда выписать. Внешне он из бомжа-алкаша превратился в человека приличного вида, с бородкой, палкой, не пьет. В больницу за это время поступала его бывшая жена, он просил и ее задержать на подольше: к ней ходят детки (их общие). Взял семьдесят рублей на конверт, будет писать в Германию, немец все-таки, есть куда написать. В некоторых московских больницах имеется такая практика: через трое суток госпитализации сажать бродяг в автобус и отвозить подальше от больницы, есть и сотрудники, которые за это отвечают.

Остается и смешное, хотя оно все менее заметно, поскольку повторяется. На днях больная принесла мне в подарок трехлитровую банку с огурцами, нахваливает огурчики, я благодарю. Вдруг: “Максим Александрович, а как мы насчет банки договоримся?”

Активного, деятельного зла я не вижу совсем, только пустоту. В больничном сортире — обрывки кроссворда (и больные, и сотрудники помногу решают кроссворды): “жалкие люди”, слово из пяти букв. Женским почерком аккуратненько вписано: НАРОД (по мысли авторов кроссворда, правильно —

“сброд”). Всегда старался избегать этого слова, еще до приезда в N., но по многим поводам сильно заблуждался (Бродский о Солженицыне: “Он думал, что имеет дело с коммунизмом, а он имеет дело с человеком”). Нельзя относиться к так называемому “народу” как к малым детям: в большинстве своем это взрослые, по-своему ответственные люди. Во всяком случае, никакого ощущения потери, неосуществленных возможностей при тесном знакомстве с ними не возникает. Они и правда готовы жить лет пятьдесят—шестьдесят, а не столько, сколько на Западе, моста и правда “не было и не надо”, они и правда предпочитают Киркорова Бетховену: на устроенный нами благотворительный концерт пришли почти исключительно дачники. (Кстати сказать, ненависть к классической музыке — при огромных в ней успехах — феномен необъяснимый. Моему товарищу-музыканту, попавшему в психиатрическую больницу, не разрешили пользоваться портативным проигрывателем — чтобы не слушал классическую музыку, которая сама уже есть шизофрения. Остальным больным — разрешают, потому что они слушают “нормальную” музыку, т. е. умца-умца.) Самый актуальный рассказ Чехова — “Новая дача”, все-таки не “В овраге”. Выбирают люди из своей среды — в условиях совершенно реального самоуправления — Лычковых.

Начальство (те, кому нельзя сказать “нет”). Простой советский человек и простой советский секретарь райкома были очень разными людьми. Сохраняется это деление и теперь. Лычков, съевший всех, кто ему мешал, да еще законно избранный, очень глуп, конечно, по меркам интеллигентного человека (а какие еще есть мерки?), но кое-что чувствует тонко. Говорю с ним, а в глазах у меня написано: “Мне так нужна твоя подпись, что я *даже готов с тобой выпить*”. Выпить он не против, но не на таких условиях.

С начальством сопряжено множество историй, ни одна не порадовала, две — удивили. Первая история: я попросил крупную западную фирму выписать счет на томограф (обещали купить благотворители) по его настоящей цене — за полмиллиона, а не за миллион, без *отката*. Меня долго уговаривали: на разницу вы можете купить еще приборов (ну да, а те тоже дадут откат — и так далее — до простынок). Оттого и появился в русском языке очень емкий глагол *проплатить*, то есть пропитать все деньгами. Затем выяснилось, что купить без отката нельзя, будет скандал: начальство окажется в ложном положении. Стало быть, не только можно ездить на красный свет, но это еще и единственная возможность куда-нибудь доехать.

Вторая история случилась, когда я обратился к влиятельным знакомым-врачам с просьбой защитить

меня от начальства. “Нет проблем. Скажи, кому звонить, все устроим”. Спрашиваю, каким именно образом. “Честно говоря, мы обычно угрожаем физической расправой” (с помощью некогда оздоровленных бандитов). Быстро сворачиваю этот разговор и завожу другой: про инфаркты, инсульты и прочие милые вещи.

Все это сильно меня опечалило, но потом я стал смотреть на дело иначе. Трудность не в том, что “ничего в этой стране нельзя сделать” (оказалось же, например, что в ней можно сделать революцию), а в том, что мой язык им так же не понятен, как мне — их. “Больной, что означает — не в свои сани не садись?” — “А я и не сажусь не в свои сани”; это из учебника по психиатрии. Так же и мы с начальством. “Вы же человек государственный”, — говорю я одному крупному деятелю. А он мне: “Государство — понятие относительное”.

И тут — два пути. Первый — учить новый язык, что сложно и неохота, да и так он похож на родной, что можно потом все перепутать. Тут не только “я вам наберу”, “повисите, пожалуйста”, “это дорогого стоит”, “обречено на успех”, “будет востребовано”, “нет правовой базы”, “плохая экология”, “недофинансирование”, “реализация нацпроектов” — дело в системе понятий, способах доказательства. Сказанное мной,

МАКСИМ ОСИПОВ

как кажется, совершенно не соответствует услышанному в ответ. У начальства то же впечатление, я думаю. Второй путь — нажимать на все кнопки подряд, как в незнакомой компьютерной программе, иногда это приносит успех. Вот и займемся.

март 2007 г.